

КОНФЛИКТ КОЧЕВОЙ И ОСЕДЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ПРОЕКЦИЯХ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

© 2020

Иванов К.В.

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Москва, Российская Федерация)

Аннотация. Статья посвящена сравнению ментальной карты казахских кочевников и репрезентационных карт российских топографов. Указанное сравнение позволяет выявить ряд категорий топонимов, которые активно использовались как кочевниками, так и российскими топографами. Несмотря на то, что на уровне выражения эти топонимы зачастую мало отличались друг от друга, на уровне содержания они, как правило, включали ряд существенных различий. Это порождало серии ментальных конфликтов, которые при определенных обстоятельствах могли перерасти в вооруженные столкновения. Один из выводов статьи заключается в том, что нарративы, порождаемые колониальным знанием, оказались нечувствительны к наборам значимых, играющим ключевую роль в организации кочевой жизни. В отличие от этого опорные знаки графических репрезентаций степи сразу же выявили категории, к которым была привязана ментальная карта кочевников. К этим категориям относились «урочища», «маршруты» и «границы». В статье осуществляется анализ структуры каждого из этих понятий и выявляются различия в их значимости для представителей оседлой и кочевой цивилизаций. Приводятся несколько примеров того, каким образом указанные различия могли приводить к коллизиям, возникавшим между казахскими кочевниками и российскими оседлыми жителями.

Ключевые слова: топография; картография; ментальная карта; колонизация; Казахская степь; колониальное знание; кочевая цивилизация; урочище; маршрут; граница; Российская империя; военная логистика; топографический знак; кочевое скотоводство; баранта; военно-дипломатический диспозитив.

THE CONFLICT BETWEEN NOMADIC AND SEDENTARY CIVILIZATIONS IN A RENDER OF CARTOGRAPHICAL THOUGHT

© 2020

Ivanov K.V.

Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Abstract. This paper compares the mental map of the Kazakh nomads and representational mappings of Russian surveyors. This comparison makes it possible to identify several categories of place-names, which had been heavily used both by nomads and Russian topographers. In spite of the fact that in many cases these place-names varied little concerning the expression, they usually included a number of key differences concerning the content. Such a situation caused series of mental conflicts, which under certain circumstances could escalate into the arm clashes. One of the conclusions in this paper is that the narratives resulted from colonial knowledge were insensitive to the signifieds that were central to the nomadic existence. In contrast, the benchmarks of representational topography had immediately identified the categories, by which the nomads linked their mental map to the steppe. These categories included «isolated terrain features» (*urochishcha*), «routes», and «boundaries». The paper provides an analysis of the structure relevant to each of these concepts and reveals significant differences in their values for the representatives of nomadic and sedentary civilizations. The paper contains a few examples that illustrate how these differences could lead to conflicts between Kazakh nomads and Russian sedentary settlers.

Keywords: topography; cartography; mental map; colonization; Kazakh Steppe; colonial knowledge; nomadic civilization; *urochishche*; route; boundary; Russian empire; military logistics; bench mark; pastoral nomadism; *baranta*; military-diplomatic apparatus.

Введение

Несмотря на обилие исследований, посвященных вопросам русской колонизации, тема взаимоотношений Российской империи со своими степными окраинами продолжает оставаться на периферии главных трендов колониальной истории. Исследователей в большей мере привлекают такие регионы, как Сибирь [1; 2], Дальний Восток [3], Кавказ [4; 5] и Средняя Азия, если понимать под последней такие государственные образования как Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства [6–8]. Казахская степь время от времени становилась предметом пристального рассмотрения, но только в тех случаях, когда речь шла либо о ее восточноевропейских регионах (западнее Оренбурга) [9; 10], либо об относи-

тельно плодородных землях Семиречья [11]. М. Ходарковский рассматривает генеалогию формирования южного «фронта» Российской империи в долгой исторической перспективе, начиная с заката Золотой Орды, однако его исследование охватывает исторический период до 1800 г. и не включает сюжетов, связанных с разделением территории степи между российскими административно-территориальными образованиями, что стало социально-политическим маркером ее окончательного «покорения» [12].

Примечателен сам факт такого академического небрежения в отношении степи. В нем можно различить следы еще не преодоленных рудиментов колониального мышления. Целые поколения европейских интеллектуалов взращивались в лоне доминирующей

парадигмы географического POSSIBISИЗМА, изящно резюмированной Л. Февром в 1922 г. в работе «Земля и эволюция человека: географическое введение в историю». Долгое время считалось само собой разумеющимся, что степень цивилизованности напрямую определяется способностью человеческих обществ использовать те возможности, которые предоставляет им географическая среда, при молчаливом допущении цивилизационного превосходства оседлого образа жизни над кочевым. Подчеркивание антропогенного характера географической среды и преобразующей роли человека рождало «естественную» ассоциацию, связывающую благоустроенность места обитания с качеством населяющего его человеческого материала. Кочевники, обитавшие в аридных климатических зонах – будь то Северная Африка или Казахская степь, – делались как бы ответственными за климатическое и экологическое неблагополучие пустынных регионов степи. «Пойдем ли мы, – писал В. Васильев во второй половине XIX в., – что номад есть враг и природы и цивилизации, что он разрушитель богатств, создаваемых только трудами оседлости и земледелия?» [цит. по: 13, с. 9].

Между тем степь представляла собой крайне сложный объект для хозяйственной ассимиляции. Аридный климат, отсутствие развитого поверхностного стока в сочетании с высокой нормой испаряемости и малочисленностью атмосферных осадков не позволили развиваться там земледелию. Единственным хозяйственно-культурным типом, который мог быть применен для успешной адаптации к этому засушливому региону, было кочевое скотоводство. Поэтому в течение долгого времени степь оставалась для оседлого жителя неизвестной, непонятной и враждебной территорией. Сложившаяся некоммуницируемость в значительной степени поддерживалась самим укладом жизни казахов, крайне сложным сочетаемым с укладом соседних оседло-земледельческих обществ. Как остроумно заметил А. Тойнби, «ужасные физические условия, которые им [кочевникам – К.И.] удалось покорить, сделали их в результате не хозяевами, а рабами степи... Наладив контакт со степью, кочевники утратили связь с миром» [14, с. 186].

Кроме того, формально степь была включена в состав Российской империи в 1731 г. [15, с. 3]. Поэтому конфликты, возникавшие на казачьих линиях (на пресловутом «фронтире»), де-юре можно было отнести не к внешним, а к внутренним. Наконец, финальный этап колониальной экспансии России в южном направлении, окончившийся острым геополитическим противостоянием Российской и Британской империй, почти полностью затмил историю взаимодействия российского государства со степью, превратив его в мелкий промежуточный эпизод гораздо более широкой и значимой историко-политической интриги Большой Игры. Между тем, как мы собираемся показать в настоящей статье, именно в степи были впервые артикулированы системы значений и выработаны социальные установления, позволившие сначала перешагнуть через многовековой фронт, отделявший империю от степи, а затем двинуться дальше в направлении центральноазиатских ханств.

Исторически инструментом вышеупомянутых артикуляций стало картографирование степных терри-

торий. Именно оно позволило в процессе самого картографического обозначения сначала выявить требуемые наборы означаемых, а затем создать большие синтагматические комплексы, напрямую обосновывающие целесообразность экспансии. Мы покажем, что смысл колониальных захватов рождался и функционировал в зазорах делений и дроблений, задаваемых преимущественно репрезентациями военных топографов. Понятно, что политические мотивы экспансии невозможно уяснить, не принимая во внимание системных изменений, произошедших в стиле государственного управления второй трети XIX в., выразившихся в централизации и милитаризации российского государства, а также в усилении бюрократического аппарата. Не претендуя на всеобъемлющий обзор этой сложной темы, мы сосредоточимся лишь на одном из ее технических аспектов – проекте изготовления точной карты Российской империи и его роли в новой постановке проблемы южного фронта.

Степь как картографический «Другой»

К началу XIX в. российская картография уже обладала довольно подробной топографической номенклатурой, учитывавшей сложившийся социальный порядок и формировавшей комплексное представление о характере отображаемой местности с точки зрения как географического ландшафта, так и культурной, политической и хозяйственной значимости. Номенклатура содержала иерархические градации, размещавшие топонимы в строго ранжированной сети социальных отношений. Например, города было принято делить на губернские, уездные и заштатные; более мелкие населенные пункты – на села, слободы и деревни; отдельно помечались заводы и приiski; учебные заведения делились на университеты, академии, лицеи, институты, гимназии и училища; дороги – на железные, шоссе, губернские и уездные и т.д.

Согласно плану, разработанному в Русском географическом обществе сразу же после его основания в 1845 г., при изготовлении новых точных карт Российской империи нужно было сначала сосредоточить все внимание на западных губерниях – Витебской, Киевской, Могилевской и Смоленской, а уже от них постепенно распространять работы к востоку [16, с. 12]. Однако если для западных и центральных губерний указанная номенклатура работала вполне исправно, то на восточных и южных территориях, формально включенных в состав империи, но еще недостаточно освоенных ею, она сталкивалась с рядом эпистемологических сложностей. Затруднения подобного рода особенно ярко выявились при попытке описания Казахской, или, как ее тогда называли, «Киргизской» (иногда «Киргиз-кайсацкой»), степи. В степи не было ни городов, ни дорог. Там практически отсутствовало земледелие, а следовательно, не было и оседлых жителей, кадастровый учет угодий которых мог бы составить основу для более точного картографирования. Даже малейшие нарушения рельефа – отдельно стоящие захоронения, курганы либо холмы – были расположены на таких огромных расстояниях друг от друга, что их невозможно было связать общей геометрической сеткой [17, с. 333–334].

Тем не менее российские картографы довольно быстро обнаружили категорию топонимов, которая

стала доминирующей на картах, отображавших территорию степи. Ими стали так называемые *урочища*. «Познание урочищ, – писал в 1846 г. действительный член общества Я.В. Ханьков, – т.е. мест степи, замечательных по какому-либо признаку, как-то: колодезю, холмам, пастбищу, могиле и т.п. чрезвычайно важно для путешественника, и в этом-то собственно и состоит География степей» [18, с. 103]. Топоним «урочище» обладал крайне размытой структурой, но являлся опорным знаком, позволявшим распространить на степь установления, принятые при отображении остальной территории империи. В плане субстанции выражения он не нес в себе никаких характерных признаков и мог принимать более или менее любой облик: луг, лес, холм, седловина, колодец, лощина, овраг и т.д. Форма выражения зависела от правил, в соответствии с которыми составлялась конкретная карта, а также от ее масштаба. Если на крупномасштабных и среднемасштабных картах урочища, как правило, детализировались или по меньшей мере обводились контуром (точечным пунктиром), то на мелкомасштабных картах они не изображались вовсе, для них не существовало отдельного топографического знака (если урочище не принимало вид какого-либо традиционно обозначаемого объекта, например, горы, колодца или почитаемой могилы). Однако, несмотря на отсутствие специфического топографического знака, даже на мелкомасштабных картах урочища обязательно подписывались «круглым» шрифтом (рондо), хотя масштаб, скажем, 1:2100000 (пятьдесят верст в дюйме) и меньше не позволял сколько-нибудь надежно локализовать их местоположение.

Совсем иначе обстояло дело с планами субстанции и формы содержания. Совершенно очевидно, что субстанция содержания имела лишь косвенное отношение к тому, какой конкретно объект выступал в роли урочища. Важно было не то, что он из себя представлял, а то, каким образом он был вовлечен в человеческую коммуникацию. Урочища обозначались наименованиями, которые присваивали им сами казахи. Степь была скудна в отношении рельефных неоднородностей. Поэтому топографы тщательно фиксировали каждый участок местности, обладавший собственным именем. Однако форма содержания урочища долгое время ускользала от понимания топографов. Они не могли уловить значимость этих объектов для самих казахов – той роли, которую урочища играли в организации перекочевков и регламентации отношений собственности на пастбища, а значит, в межродовых отношениях в целом. Отсюда возникала путаница и смешение различных форм содержания. Топографическое представление об урочище как о части местности, отличной от окружающих ее участков, смешивалось с представлением о нем как о сложном комплексе пространственно-временных связей, регулирующем межродовые отношения, ритм и последовательность перекочевков. Тем не менее интуитивно угаданная коммуникативная природа вычленения урочищ как значимых элементов ландшафта позволила распространить на них те установления, которые были выработаны при картографировании европейской части Российской империи. Урочища позволили отобразить степь как ан-

тропогеоценоз, хотя и неевропейского типа. Было понятно, что их распределение маркирует какой-то социальный порядок, но в течение долгого времени этот порядок был заслонен привычками восприятия, свойственными европейскому оседлому жителю.

*Термин «урочище» в комплексе
до-топографического колониального знания*

Урочища приобретают особую значимость именно в топографических практиках. До их институционализации этот термин хотя и использовался массиве данных, произведенных в процессе многовекового взаимодействия России со степью, но употреблялся окказионально, в основном для описания маршрутов, особенно когда невозможно было привязать последние к какому-либо естественному ориентиру – реке, сырту, горе или ложбине. Уже самый первый картографированный маршрут через степь от Орской крепости «через Киргиское, Каракалпацкое, Аральское владения до города Хивы», составленный И. Муравинным (1743), содержал в качестве самостоятельных топонимов «урочища и горы Калакаиския» и «урочища Кара кум, дорога через бугорки песчанья, вода калотцами» [19]. В путевом журнале Муравина также упоминаются некоторые другие «урочища». Еще одно урочище было указано на карте маршрута «через орд киргиз-кайсацкие и до зенгорскаго владения и обратно до Орской крепости», составленной майором Миллером (1743). Происхождение наименований урочищ и их значимость для казахов никак не пояснялись ни у Миллера, ни у Муравина.

Во второй половине XVIII в. урочища и вовсе выпадают из языка описания степи. Например, этот термин совершенно не встречается в «Путешествии из Петербурга в Хиву самарского купца Рукавкина, в 1753 году» [20]. Нет его и в «Дневных записках капитана Николая Рычкова в киргиз-кайсацкой степе, 1771 году» [21]. Книга Рычкова содержит довольно подробное описание маршрутов, но он предпочитал использовать для обозначения стоянок, лишенных топографических особенностей, понятие «лагерь», а не «урочище». Не встречается этот термин и в «Замечаниях майора Бланкеннагеля впоследствии поездки его из Оренбурга в Хиву в 1793–94 годах», хотя Бланкеннагель, будучи посланным в качестве лекаря, чтобы исцелить от слепоты хивинского хана, оставил довольно подробное описание степи, которую пересек, двигаясь вдоль западного побережья Аральского моря. Он обнаружил, в частности, несколько важных географических несоответствий на имевшейся у него карте, например отсутствие канала или реки, якобы соединяющей Каспийское и Аральское моря, а также гораздо большее, чем на карте, расстояние между указанными морями [22, с. 10].

Термин «урочище» вновь появляется в записках, составленных М.С. Поспеловым и Т.С. Бурнашевым (1801). В их тексте есть несколько замечаний, указывающих на актуальность этого термина в жизни самих казахов. Например, они писали, что для того, чтобы провести караван торговцев по степи, «нужен такой вожатой, который бы знал все урочища и все для удовольствия в пути потребные выгоды, поелику и тогда встречаются безводные места» [23, с. 15]. Описание маршрутов обязательно содер-

жалю перечисление урочищ, которые иногда не просто назывались по именам, но и довольно подробно описывались. Кроме того, Поспелов и Бурнашев сделали довольно верное наблюдение, ясно свидетельствующее о том, что кочевникам был имманентно присущ замкнутый цикл кочевания по строго зарегулированным маршрутам с наличием постоянных зимних стойбищ и передвижениями в летний период по одним и тем же водным источникам. «По образу своей кочевой жизни, – писали они, – киргиз-кайсаки, весною со всем, скотом и имуществом переходят так-как принадлежащими уже для каждой волости местами, останавливаясь через неделю, или куда удобность есть для корму скота, около речек, озер или колодцев всюю волостью вообще, дабы быть безопасным от других волостей; разделяются же иногда только по стеснению мест, и таким образом через все место продолжают, а к зиме возвращаются на непреременные свои места, каковые более избирают между гор, чтоб от случающихся непогодий сколько-нибудь могли защититься» [23, с. 5–6].

Однако оба этих верных наблюдения не соединились у Поспелова и Бурнашева в напрашивающийся вывод о том, что урочища выполняли в казахской цивилизации две важные функции. Они, во-первых, обозначали границы между казахскими родами и, во-вторых, задавали последовательность сезонных перемещений аулов одного рода от зимних тебеневок к летним пастбищам и обратно. Поэтому для казахов урочища были не просто частью местности, отличной от окружающих их участков. Они играли важную роль в их скотоводческой деятельности и свойственной ей социальной организации. Я.П. Гавердовский, ездивший в 1803 г. с посольской миссией в Бухару, избегает частого употребления термина «урочище», ассоциируя его с рудиментами казахских былин и сказок. Якобы именно таким образом появились названия этих мистически закодированных мест. Но зато он отмечает, что «привычка снабдила киргизцев удивительной способностью отыскивать желаемые места в степи во всякое время и во всяком местоположении; ни новость страны, ни отдаленность расстояния, ничто не полагает им преграды в их поисках, хотя бы случилось сие в глубокою полночь, в ровных степях, когда все небо помрачено облаками, не видна главная путеводница их, Полярная звезда (Темир казык) [24, с. 182]. Ф.Д. Назаров, напротив, обильно использует термин «урочище» при описании своей поездки в Ташкент в 1813 и 1814 гг. [25]. Можно даже сказать, что этот термин выполняет у него техническую функцию подробной регистрации маршрута, хотя Назаров не вносит ничего нового в семантические оттенки формы содержания этого термина.

Барон Е.К. Мейендорф, совершивший в 1820–1821 гг. путешествие в Бухару в составе посольской миссии, наоборот, почти не употребляет термина «урочище», но парадоксальным образом обнаруживает новые смыслы в означаемом, которое он предпочитает маркировать как «местность, имеющая особое значение для казахов». Он заметил, в частности, что именованная, присваиваемые казахами тем или иным местам и местечкам, значимы, как правило, для них не только в силу суеверных представлений и стихийного мифотворчества, но и в силу объ-

ективных факторов кочевого скотоводческого производства. «Вообще, киргизы, – пишет он, – обозначают местности, попадающие в поле их зрения, характерными именами. Например, горы, расположенные к югу от Айрук-тага, известны под названием Ямартаг, или "Плохие горы", те же горы, которые находятся к северу, – Якши-таг, или "Хорошие горы". На склонах первых растет мало травы; на вторых много хороших пастбищ и воды» [26, с. 32].

Эти и другие сочинения с изложением сведений о Казахской степи были обобщены в фундаментальном труде А.И. Левшина «Описание киргиз-казацких или киргиз-кайсацких степей и орд» [27], изданном в 1832 г. Левшин тоже не придает особого значения понятию «урочище», хотя приводит подробную сводку примерных мест обитания того или иного рода. Опорой его нарратива становится традиционный европейский географический лексикон. Казахи в изложении Левшина кочевали не от урочища к урочищу, а вдоль рек, гор, пустынь и озер. Это деформировало смыслы описания жизнеобеспечивающих практик казахов-кочевников. «Урочище» в его традиционном европейском понимании части местности, отличной от окружающих ее участков, мало соотносилось с казахским представлением о нем как о месте, где аул должен поставить свои кибитки при следующей перекочевке. От российских этнографов и географов ускользала такая важная форма содержания урочищ, как сеть пространственно-временных маркеров, жестко ограничивавших свободу перемещений «вольных» степных странников. Можно сказать, что у казахов была своя «карта» степи, хотя она возобновляла себя посредством не репрезентационных, а ментальных технологий.

*Синтагматические комплексы карт
vs нарративы колониального знания*

Предположение, что урочища (точнее, их комплексы) выполняли у кочевников функцию, которая была присуща европейским картам, отчасти подтверждается тем, что с самых первых попыток репрезентировать степь посредством картографических изображений они начинают массивно заполнять своими «непонятными татарскими названиями» (речевой оборот Я.В. Ханькова) широкие регионы Казахской степи. Уже на бледной и географически весьма недостоверной карте Левшина они, несмотря на крайне редкое упоминание о них в нарративе его обширного трехчастного произведения, являют неожиданное изобилие, а в регионах с малым количеством естественных нарушений рельефа становятся чуть ли не единственным способом графического отображения географии степи. Столь разительное несоответствие между понятийными системами, применяемыми авторами книг о степи, и реальностью, репрезентируемой картами степи, породило контраст, долгое время отзывавшийся резким диссонансом в недоуменных академических репликах.

Карты подобно языку членили действительность, внося в нее зазоры и различия, но делали это иначе. Если возможно уподобить нарратив ручью или потоку, постепенно расширяющему протоки проложенного русла и одновременно рождающему новые расщелины – зародыши следующих русел, то для

карт будет уместно сравнение со сложным комплексом упругих струн и мембран, задающих напряжения и провоцирующих сдвиги, вибрации и сколы. Ментальная карта казахов была системой дедлайнов, регламентирующих циклы перекочевок. В их мировосприятии урочища размещались в разветвленном пространственно-временном континууме сезонных перемещений. То или иное урочище обозначало не только определенное место, но и определенный календарный период. Общая совокупность урочищ складывалась из локальных пучков направлений передвижений и предполагала еженедельный (за исключением зимнего периода) выбор конкретного направления движения в зависимости от обстоятельств, сложившихся в ауле (количества скота, видового состава стада, могущества или слабости соседних аулов, выражавшихся в скорости перекочевок, долговременных межродовых договоренностей и т.д.). В качестве абсолютной системы координат, позволявшей успешно ориентироваться в этом сложном комплексе, выступало астрономическое знание казахов – ориентирование по Солнцу и звездам и календарь, привязанный к такому же зодиаку, что и у европейцев, но со слегка модифицированными названиями (знак Близнецы обозначался как «муж с женой», Водолей – «коромысла с ведрами», Козерог – «высокая гора или старичок», остальные названия были фактически аутентичны европейским).

В отличие от казахских ментальных карт, европейские карты были основаны на принципе графической репрезентации. Как мы уже видели, они наперекор доминирующему колониальному нарративу, оказавшемуся слепым в отношении ментальных карт, сумели альтернативным образом транслировать часть информации, заложенной в ментальной карте казахов, хотя и с некоторыми важными упущениями и деформациями. Степь была структурирована посредством заимствованного у казахов знания об урочищах, но заимствованная структура не порождала тех значений, которые были свойственны автохтонной казахской культуре. У казахов урочища использовались для определения последовательности перекочевок. Аналогичным образом в репрезентационной европейской картографии знание об урочищах применялось в основном для прокладки маршрутов. Однако при переходе от означающего к означаемому понятия урочища в пределах синтагмы маршрута европейская картография порождала не казахское значение урочища как «места, где *должны/не должны* быть установлены кибитки», а значение «места, где *возможно/невозможно* разбить лагерь». Этот сбой в отождествлении формы содержания, заключающийся в игнорировании различия между «возможным» и «должным» породил немало наивных колониальных мифов о том, что казах «гуляет где хочет», и вообще о «свободной природе» степи. Комплекс урочищ репрезентационных карт был практически идентичен казахским ментальным картам на уровне выражения, но кардинальным образом разошелся с ними на уровне содержания.

Дополним понимание конфликта указанного семиотического разлада разбором такого важного картографического понятия как «граница», которое можно считать семиотически полярным понятию «марш-

рут». В отличие от синтагмы «маршрут», предполагающей в качестве своего доминантного качества богатую вариативность, доминантным качеством синтагмы «граница» является ее низкая вариативность и малая подвижность. В силу этого она обладает особой семиотической структурой. На уровне субстанции выражения граница должна быть максимально репрезентативна: берег реки, пики высоких гор, искусственно устанавливаемые сигналы. Даже если элементом границы считалась такая топографически размытая категория как урочище, как это часто бывало у казахских родов, она воспроизводилась по естественному «краю» урочища – окончанию пастбищной территории, зоне дневного перехода стада в пределах колодца и т.д. С точки зрения формы выражения на европейских картах граница – это всегда линия. Виды линий, вообще говоря, могли различаться по оформлению, что отражало статус границы (государственной, губернской, уездной и т.д.). Они могли быть сплошными, двойными сплошными, пунктиром, сплошной с пунктиром. Линия могла имитироваться с помощью выстраиваемых в цепочку символов, например «звездочек». У казахов, не пользовавшихся репрезентационными технологиями, не было линий, но границы тоже помечались особыми знаками, особенно в местах зимних тебеневок. Это могли быть всевозможные конструкции из камней либо *тамга* (родовой знак) – нарисованная или изготовленная из веток.

Гораздо более сложную структуру образовывали субстанция и форма содержания границы. У скотоводческо-кочевой и у оседло-земледельческой цивилизаций она была не просто различной, но еще и инвертированной. Для оседло-земледельческой цивилизации формой содержания границы всегда являлось ее *оспаривание*, что естественно в случае, когда средством производства является земля. Перераспределение богатств автоматически предполагало перераспределение территорий. Вполне естественно поэтому, что на уровне субстанции содержания граница предполагала наличие укреплений и усиленное присутствие людей, для которых война была либо призванием, либо профессией, либо повинностью, либо всем этим вместе. Таковыми были, в частности, казачьи линии на южных рубежах Российской империи. Предполагалось, что граница должна быть неподвижной и *непроницаемой* преградой с регламентируемой процедурой пропуска. Нарушение границы ассоциировалось либо с военным вторжением, либо с чем-то криминальным, например контрабандными операциями.

В казахском представлении земля сама по себе не представляла такой высокой ценности. Средством производства в данном случае (и одновременно продуктом) являлся скот. Поэтому перераспределение богатств выражалось в перераспределении скота. Разграничения между угодьями, безусловно, существовали, но они не представляли собой непроницаемой преграды. Казахи не строили укреплений в степи, но взамен этого каждый взрослый мужчина считался воином. То есть приграничная территория как бы растягивалась на все владение рода (точнее, на «владения» отдельных аулов, кочующих в меридианном направлении вдоль «приграничной» или, скорее, «межграницной» полосы). Вторжение сдерживалось

не эшелонированной обороной рубежей, а давлением потенциально опасной вооруженной массы, готовой к возмездию. Поэтому, строго говоря, на уровне субстанции содержания границей была *вся территория рода*. Соответственно, формой содержания этой своеобразно понимаемой «границы» являлось наличие необходимых условий для успешного воспроизводства стада, а именно: водные источники (искусственные или естественные); обильные летние пастбища для наживки скота, чтобы он мог пережить суровую зиму; и зимние стоянки (*кстау*) в местах, где можно было относительно безболезненно перезимовать, держа скот на скудном подснежном корме (тебеневка). Территорией для казахов была не земля как таковая, а пастбища, водные источники и места зимних стоянок. Причем отторжение любой из трех перечисленных выше частей аннулировало ценность двух остальных.

И в оседло-земледельческой, и в скотоводско-кочевой цивилизациях существовали механизмы, регулирующие распределение собственности, не позволяя ей скапливаться в одних руках. В оседло-земледельческих цивилизациях они выражались в строгом надзоре за незыблемостью границ. В Европе практики слежения за безопасностью границ в конечном итоге выстроились в строго регламентированную систему процедур, которую Дж. Хевия назвал «военно-дипломатическим диспозитивом» [28]. Смысл заключался в том, чтобы путем заключения альянсов и ведения переговоров компенсировать рост могущества той или иной державы противопоставлением ей военной силы нескольких государств, вступивших во временный и, как правило, недолговечный союз. Одним из следствий этого стало возникновение целой военной науки, прорабатывавшей виртуальные сценарии возможных войн и изобретавшей схемы снижения угроз и минимизации потерь средствами военной логистики.

У казахов тоже была процедура, регулирующая распределение собственности. Она была известна российским наблюдателям как *баранта* (по-казахски – *барымта*). Обычно европейские наблюдатели видели в баранте тривиальный грабеж, искреннее недоумевая, почему она не маргинализировалась, а регулярно практиковалась в казахском обществе и даже иногда признавалась судами старейшин как право потерпевшей стороны. Цивилизованное сердце европейца разрывалось от чувства несправедливости, когда за воровство одной лошади казаха могли подвергнуть жестокой казни, в то время как угоняемые во время баранты стада и табуны не влекли за собой никакого возмездия, кроме родовой вражды. Но если взглянуть пристальнее, то можно увидеть, что баранта, препятствовавшая скоплению в руках одного владельца большого количества скота, мало чем отличалась от способов нейтрализации роста влияния того или иного государства в Европе. И там, и здесь заключались временные альянсы. И там, и здесь велись переговоры. И там, и здесь производились действия, не позволявшие тому или иному полюсу силы получить решающий перевес над другими полюсами. Баранта стояла в одном ряду (и, вероятно, была связана отношением компенсации) с такими механизмами перераспределения богатств как калым, енши, отдача скота в сауны и т.д. [13].

Коллизии толкования «границы»

Начало наиболее острым и кровопролитным конфликтам в степи было положено, когда казахи линии стали восприниматься в качестве государственной границы в соответствии с европейской концепцией военно-дипломатического диспозитива. Попытка оптимизировать геометрическую форму границы согласно правилам военной логистики нарушила многовековое равновесие, установившееся в степи между казахскими поселениями и казахскими родами. Геометрическая форма укрепленных линий, ставшая различимой благодаря графическим репрезентациям военных топографов, задавала напряжения, притягивавшие внимание военных специалистов. «Оренбургская линия, – писал в декабре 1814 г. Г.Ф. Генс в своем рапорте оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому, – образует между Оренбургом и Звериноголовской крепостью два почти прямые угла, один исходящий, коего округленная вершина образуется Уралом начиная от Губерлинской крепости до Калпацкого редута, и один входящий имеющий тупую вершину образуемую прямою линиею проведенною от Спасского редута до Степной крепости. Входящие углы пограничной черты выгодны потому что при нападении неприятеля на вершину или около ее лежащие места могут быть высланы с обеих сторон в неприятельскую землю отряды войск которые соединясь могут ему отрезать путь к отступлению и не допустят к нему подвоза и подкреплений... Совершенно в противном положении находится выходящий угол и в близости его лежащие места. Отряды, высылаемые со сторон в случае нападения должны прежде поравняться с угрожаемым местом и тогда уже стараться догнать или опередить отступающего неприятеля» [цит. по: 29, с. 40].

В 1835 г. после долгих обсуждений и споров начались работы по «сглаживанию» укрепленной линии, чтобы избавиться от проигрышного с точки зрения военной логистики «выходящего угла», в вершине которого находилась крепость Орская. 24 мая 1835 г. в степь из Орской крепости выступил специальный геодезический отряд численностью 256 человек. В течение лета была проведена съемка местности и определены места для строительства 5 укреплений, 19 отрядов, 10 редутов и 17 пикетов. В том же году началось строительство фортификационных укреплений новой линии [30, с. 15]. Казахи довольно спокойно отнеслись к появлению в степи новых укреплений. Однако когда на следующий год выяснилось, что они лишены права пользоваться пастбищами, оказавшимися за новой линией, вспыхнуло восстание Кенесары Касымова, инерция подавления которого привела к дальнейшей экспансии Российской империи вплоть до Гиндукуша, что было показано нами ранее [31].

Проведенный нами анализ позволяет предположить, что одним из детерминирующих факторов возникшего конфликта было несовпадение базовых представлений об организации пространства у кочевников и оседлых жителей. Как мы уже видели, пространственное представление о степи как русских, так и казахов структурировалось относительно двух осевых синтагм, которые мы условно обозначи-

ли как «маршрут» и «граница». В синтагме маршрута несовпадение наблюдалось только в трактовке формы содержания. Синтагма границы образовывала более сложное отношение. На уровне субстанции содержания границей у кочевников была не линия, а *полоса* меридианных перекочевков, значимость (форма содержания) которой определялась наличием в ней трех компонент – воды, летних пастбищ и зимних стоянок. В отличие от этого, у оседлых жителей на уровне субстанции содержания граница была укрепленной *линией*, значимость которой определялась ее непроницаемостью. То есть тут имело место не просто несовпадение, а *ложное отождествление*. Другими словами, нарушение границы с точки зрения представителя оседлой цивилизации могло не восприниматься в качестве такового с точки зрения представителя кочевой цивилизации, и наоборот. И здесь конфликт разворачивался уже не вокруг оппозиции *возможное/должное*, как это было в случае маршрута, а вокруг гораздо более жесткой оппозиции *допустимое/запретное*.

Случай нарушения, связанный с неверной трактовкой казахами формы содержания границы в европейском понимании этого слова, отчетливо проявлялся в барантовании, которое они вели в отношении казахских поселений. В строгом смысле, баранта не была войной. Барантующиеся даже не брали с собой оружия, чтобы не допустить случайного убийства. Как правило, она применялась в том случае, если обидчика невозможно было наказать с помощью суда, и всегда предполагала последующие переговоры при участии посредников. То есть баранта представляла собой своеобразную разновидность восстановительной юстиции. Однако если в ходе баранты случалось убийство, она могла перерасти в кровную месть и повлечь за собой разбойные набеги. Но для оседлого жителя вторжение на его территорию воспринималось как государственное преступление, которому нужно было давать вооруженный отпор. Поэтому в начале XIX в. казачья линия полыхала вооруженными конфликтами, которые были интерпретированы российскими военными аналитиками как некое подобие войны.

В свою очередь, случай нарушения, связанный с неверной трактовкой российскими военачальниками формы содержания границы в казахском понимании этого слова, выразился в оптимизации границ по правилам военной логистики, приведшем к отчуждению лучших летних пастбищ нескольких казахских родов, что автоматически обрекало на смерть их стада во время зимы. Для казахов это было нарушением границы в *их* понимании и являлось достаточным поводом для того, чтобы организовать широкое вооруженное сопротивление, которое и возглавил Кенесары Касымов.

Это же семиотическое несоответствие лежит в основе ошибочных оценок, высказываемых российскими топографами в отношении кочевых маршрутов. Если на первых «качественных» картах (с гадательным размещением топонимов) урочищам еще придавался слабый коммуникационный смысл (они обозначали границы угодий того или иного рода), то на картах, изготовленных с соблюдением строгих геометрических процедур (мензульной съемкой на

местности командами топографов), закреплялись только названия, без учета такой важной формы содержания как разграничение пастбищ. Топографы явно недооценивали регламентирующую функцию урочищ либо полагали, что ее конвенциональность имеет слишком неустойчивый и переменчивый характер, чтобы быть отображаемой на картах. Описывая в «Военно-статистическом обозрении Российской империи» кочевой образ жизни «киргизов», автор первой топографической съемки степи И.Ф. Бларамберг, между прочим, писал: «Кочевая жизнь есть необходимое следствие главнейшего промысла Киргизов, – скотоводства и общей всем Азиатцам черты характера – лени и беспечности» [32, с. 91]. И хотя в статистической (математической) части обзора были подробно перечислены места кочевков всех родов с упоминанием соответствующих урочищ, в резюмирующей (гуманитарной) части сочинения говорилось: «Не должно однако думать, чтобы каждый аул занимал непременно каждый год одно и то же место; напротив, слишком большая засуха перегоняет их с полей сгоревших от жаров на те, которые освежены были дождями» [32, с. 92].

По мнению Бларамберга, казахи могли легко менять маршруты и территорию кочевков. Однако даже из его беглого описания следует, что это могло делаться только под давлением чрезвычайных обстоятельств – войны либо катастрофически неблагоприятных погодных условий. Но время, когда Бларамберг составлял свое описание, было временем и войны, и чрезвычайных обстоятельств. Мобилизационные мероприятия Кенесары Касымова безусловно отразились на маршрутах кочевков. Кроме того, аннексия наиболее плодородных угодий во время постройки новой линии также с неизбежностью повлекла за собой перераспределение пастбищ между родами [33, с. 42–44]. Бларамберг регистрировал не столько привычный образ жизни казахов, сколько турбулентность, порожденную вторжением в степь регулирующего имперского диспозитива.

Модели администрирования степи, предложенные российскими колонизаторами, так или иначе имели в виду закрепление за определенными группами казахов их территорий, пускай даже без седентаризации. Горькая ирония заключалась в том, что это *возможно* было сделать естественным и непротиворечивым образом при достаточно внимательном изучении родоплеменной структуры казахского общества, поскольку различные казахские роды, действительно, кочевали по замкнутым циклам и редко выходили за пределы полагающихся им пастбищ и водных источников. Это потребовало бы проведения многочисленных регулярных экспедиций топографов в места кочевий, а в идеале – совместного кочевания казахских аулов вместе с российскими топографами. Однако политические представители граничащих со степью российских генерал-губернаторств, равно как столичные представители академической географической науки, были далеки от того, чтобы рассматривать казахов в качестве полноценных субъектов научной коммуникации. «Исчислить все сии подразделения, – писал А.И. Левшин, – едва ли возможно. Труды, необходимые для такого предприятия, превос-

ходят всякое терпение и требуют долговременного пребывания с киргизами не только в каждом отделении рода, но и в каждой части отделения» [27, с. 289].

Вместо указанного «долгого» способа, который потребовал бы дополнительных исследований, был выбран «быстрый» и в то же время привычный способ искусственного деления территорий на округа, который хорошо согласовывался с логикой административного деления российских территорий, но плохо увязывался с логикой системы материального производства казахов. Инструментом такого деления стало, во-первых, сплошное картографирование степной территории, начавшее планомерно осуществляться военными топографами с 1843 г., и, во-вторых – проведение внутри степи границ по принципу «закрепления» казахских родов за административно-территориальными образованиями Российской империи.

Заключение

Наложение ментальной казахской и репрезентационной российской карт позволяет выявить ряд семиотических несовпадений, обозначающих очаги затяжного цивилизационного конфликта между казахскими родами и Российской империей. Их нельзя считать причинами конфликта в строгом смысле этого слова, поскольку они принадлежали к разным языковым системам, а потому не могли образовывать цепочек причинно-следственных связей. Однако, будучи объединенными единым материалом кодирования – степью, – они вступали в отношение соседства, что индуцировало появление третьей, промежуточной, системы – системы подобий. Эта третья система вполне допускала осуществление и логических операций, и тавтологических обозначений, однако проекции последних в две исходные системы с неизбежностью порождали разные значения и разные значимости. Опорным элементом системы подобий было «урочище». На уровне означающего оно не образовывало различий с двумя исходными системами, однако при переходе от означающего к означаемому оно порождало различные значения в различных системах. Мы подробно показали в статье, что эти различия строились вокруг оппозиции *возможное/должное*. Опорными синтагмами системы подобий (конструкциями, выстроенными из опорных элементов – урочищ) были «маршрут» и «граница». Они образовывали осевую связку относительно оппозиции *вариативное/неподвижное*. Мы показали, каким образом различие значений, порождаемое синтагмой «маршрут», привело европейских наблюдателей к ложному убеждению в свободе перемещений кочевника по степи. В отличие от синтагмы «маршрут», синтагма «граница» задавала различия между двумя исходными системами уже на уровне означающего, что могло приводить к эффектам ложного отождествления. Мы показали, что на уровне образования значений оно порождало конфликты, группируемые вокруг оппозиции *допустимое/запретное*. Указанная система различий была лишь системой различий, которая могла по-разному реализовывать себя в многообразных дискурсах и императивах. В настоящей статье мы считали важным показать, что сам фонд этих различий был порожден картографическими практиками, применяемыми в степи.

Список литературы:

1. Forsyth J. History of the native peoples of Siberia. Russia's North Asian colony 1581–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 455 p.
2. Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Колонизация азиатской России: Имперские и национальные сценарии второй половины XIX – начала XX века. Омск: Издательский дом «Наука», 2013. 248 с.
3. Bassin M. Imperial visions. Nationalist imagination and geographical expansion in the Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 329 p.
4. Gammer M. Muslim resistance to the Tsar: Shamil and the conquest of Chechnia and Daghestan. London: Frank Cass & Co. Ltd., 1994. 452 p.
5. Kemper M. 'Adat against Shari'a: Russian approaches towards Daghestani Customary law in the 19th century // Ab Imperio. 2005. Vol. 3. P. 147–173.
6. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadadism in Central Asia. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1998. 400 p.
7. Brower D. Turkestan and the Fate of the Russian Empire. London: RoutledgeCurzon, 2002. 183 p.
8. Sahadeo J.F. Russian colonial society in Tashkent, 1865–1923. Bloomington: Indiana University Press, 2007. 317 p.
9. Frank A.J. Muslim sacred history and the 1905 revolution in a Sufi history of Astrakhan // ed. D. De Weese. Studies in Central Asian history in honor of Yuri Bregel. Bloomington: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, 2001. P. 297–317.
10. Sunderlind W. Taming the wild field: colonization and empire on the Russian Steppe. Ithaca, London: Cornell University Press, 2004. 239 p.
11. Martin V. Law and custom in the steppe. The Kazakhs of the middle horde and Russian colonialism in the nineteenth century. Richmond (Surrey): Curzon, 2001. 244 p.
12. Khodarkovsky M. Russia's Steppe frontier: The making of colonial empire, 1500–1800. Bloomington: Indiana University Press, 2002. 290 p.
13. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности кочевнического общества). Алматы: Социнвест; М.: Горизонт, 1995. 320 с.
14. Тойнби А.Дж. Постигание истории. Сборник. М.: Прогресс, 1991. 731 с.
15. Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург: Типо-литография П.Н. Жаринова, 1898. Приложение. С. 1–532.
16. Записки Военно-топографического депо. Ч. X. СПб.: Военная типография, 1847. 294 с.
17. Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М.: Наука, 1978. 355 с.
18. Отчет Русского географического общества за 1845 и 1846 г. // Записки Русского географического общества. Книжка I и II. Издание второе. СПб., 1849. С. 98–113.
19. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740–1741 годах Гладышевым и Муравиным. Издана Я.В. Ханьковым. СПб.: Министерство внутренних дел, 1851. 370 с.
20. Руссов С.В. Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина, в 1753 году, с приобщением разных известий о Хиве с отдаленных времен донныне. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1840. 53 с.
21. Рычков Н.П. Дневные записки капитана Николая Рычкова в киргиз-кайсацкой степе, 1771 году. СПб.: при Императорской Академии наук, 1772. 104 с.
22. Замечания майора Бланкеннагеля впоследствии поездки его из Оренбурга в Хиву в 1793–94 годах. СПб.: Типография Морского министерства, 1858. 33 с.

23. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 г. // Вестник Императорского Русского географического общества на 1851 год. 1851. Ч. I, кн. 1. География историческая, IV. С. 1–56.
24. История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. V. Первые историко-этнографические описания казахских земель. Первая половина XIX века. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. 620 с.
25. Назаров Ф.Д. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. СПб.: Императорская Академия наук, 1821. 98 с.
26. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975. 180 с.
27. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей. Алматы: Санат, 1996. 656 с.
28. Nevia J. The Imperial security state. British colonial knowledge and empire-building in Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 312 p.
29. Аетбаев А. Состояние Оренбургской пограничной линии в начале XIX века // Ватандаш. 2017. № 9. С. 33–48.
30. Кобозов В.С. Новая линия // *Magistra Vitae*: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 1992. № 1 (3). С. 12–26.
31. Иванов К.В. Картографирование как инструмент имперской политики в Центральной Азии // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 2 (24). С. 151–181.
32. Бларамберг И.Ф. Земли Киргиз-Кайсаков оренбургского ведомства // Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении. Т. 14, ч. 3. СПб., 1848. Земли киргиз-кайсаков малой орды (зауральских киргизов Оренбургского ведомства). С. 1–119.
33. Избасарова Г.Б. Кочевая ментальная карта пространства. Трансформация понятия границы в представлениях казахов в XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2016. № 4. С. 31–44.

Информация об авторе(-ах):	Information about the author(-s):
<p>Иванов Константин Владимирович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник проблемной группы истории астрономии; Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (г. Москва, Российская Федерация). E-mail: konstantine@yandex.ru.</p>	<p>Ivanov Konstantin Vladimirovich, doctor of historical sciences, leading researcher of the Problem Group on the History of Astronomy; Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: konstantine@yandex.ru.</p>

Для цитирования:

Иванов К.В. Конфликт кочевой и оседлой цивилизаций в проекциях картографического мышления // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 3. С. 204–212. DOI: 10.17816/snv202093205.